

Кондратьев Иван Кузьмич

**Салтычиха. Историческая
повесть в 3 частях с эпилогом**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
И17

И17 **Иван Кузьмич К.**
Салтычиха. Историческая повесть в 3 частях с эпилогом / Кондратьев Иван
Кузьмич – М.: Книга по Требованию, 2022. – 253 с.

ISBN 978-5-519-90102-4

ISBN 978-5-519-90102-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

— Боязно и здѣсь, въ лѣсу-то, парень? спросила дѣвушка, оглянувшись въ свою очередь и сама.

— Вѣстимо: пуганая ворона и куста боится. А Салтычихинъ глазъ, кажись, все и изъ-подъ земли видитъ. Ты, вотъ, моли Бога-то, Галинка, что при барскомъ дворѣ не живешь. Жила бы— ой, ой, что увидала бы! Не проходить, дѣвка, того дня, чтобы кому нибудь здорово не досталось. Нашему-то брату, мужичинѣ, и такъ и сакъ. А ужъ бабамъ—бѣда просто, бьегъ чѣмъ не по-подя: и скалкой, и валькомъ, и плетью. Онамедни дѣвку Агашку, прачку, въ сажалку по горло въ воду загналъ. „Поласкайся, говоритъ, стерва, сама, коли поласкать бѣлыя не умѣешь!“ Та еле жива потомъ изъ воды вылѣзла: теперъ лежить, не встаетъ, да, поди, и совсѣмъ не встанетъ. Такая бѣдняга!

— Ишъ, у васъ порядки какіе завелись!

— У насъ порядки этакіе издавна ведутся. Аль не знаешь, не вѣдомо тебѣ это?

— Не все, парень, вѣдомо.

Сидорка оглинулся и понизилъ, говоря далѣе, голосъ:

— Не обо всемъ и говорить-то можно. Иво и помолчать надо.

— Ужъ не потому-ль васъ тамъ, на барскомъ дворѣ, и дубасить Салтычиха, что вы всѣ много помалкиваете?

— Смѣла больно! На вострый сукъ и вострый топоръ. Ты поди, да поговори съ ней, тогда и посмѣивайся.

— Смѣяться нѣчего, а, чай, на всяко дѣло свой судъ есть. Питеръ не за горами—можно и до Питера дойти, до царицы.

— Поколь шагать, дѣвка, будешь — всю спину изотрешь. А спина-отъ своя, не чужая, нѣтъ-нѣтъ—и пожалѣешь!

— Иструсился, вижу я, и ты, Сидорка, живучи на барскомъ-то дворѣ, замѣтила дѣвушка со своего рода милой презрительностью.

— Плетью обуха не перешибешь, говорятъ добрые люди... А все-жъ, Галинка: по комъ плетъ ходила, тому она долго памятна будетъ. А у меня, къ тому-жъ, и память хорошая. Все помню, коли спина чешется.

— Ужли-жъ, Сидорка, и тебѣ доставалось? спросила вдругъ Галина голосомъ любящей дѣвушки, глядя участливо на своего милаго парня.

Сидорка тряхнулъ кудрями.

— Дѣло бывалое. Самтычиха никому спуску не даетъ. Доставалось и мнѣ. Сказать надо правду.

— Доставалось? переспросила дѣвушка.

— Доставалось!

— Ахъ, милый ты мой, милый! проговорила съ нѣжностью дѣвушка, положивъ правую руку на плечо Сидорки. Такъ, и тебя терзала-мучила эта волчиха ненасытная?

— Ужъ какъ мучила-то — по смерть жизни не позабуду! Здорово встрепку задала! Лихо!

— За что-жъ это, скажи-ка?

— За баловство. Побаловалъ не въ разъ.

— Ну?

— Правду сказать: маленько бы и стоило, да ужъ не такъ. А то, вѣдь, цѣльный мѣсяцъ спины разогнуть не могъ: и сѣсть нельзя, да и лежать неспособно. Такъ, стоя, и спать.

— Бѣдный Сидорка!

— Вотъ истинный Богъ!

— За что-жъ?

— Говорю: за баловство. У ейной любимой собачки, — окляла ужъ, такая паршивая была, — я, вишь ты, шерсть маленьечко поощипалъ. Привязалъ ее къ плетню — и ну щипать. Собаченка визжитъ, ребята хохочуть. Чудно таково! Ну, и вышло...

Дѣвушка медленно сняла руку съ плеча парня.

— А вѣдь это не хорошо, Сидорка, кротко упрекнула она парня, щипать ни за что, ни про что собаченку. За что ты ее щипалъ? кусала она, что-ль?

— Нѣтъ. Да ужъ больно паршивая была.

— Не хорошо, повторила еще разъ дѣвушка.

— За то и отбарабанили.

Дѣвушка, молча, поглядѣла сперва на парня, потомъ куда-то въ пространство, а потомъ, подумавъ, замѣтила:

— Какіе вы всѣ тамъ злые!

— Будешь золь! вдругъ какъ бы обидѣлся Сидорка, — будешь золь, когда съ утра до вечера только одно и видишь, что битье да битье. Такъ-то не мудрено и звѣремъ стать. Вояч Акимка... какой паренекъ былъ — любо-дорого. Отъ вась, изъ

сторожки, пришелъ—на парня налюбоваться не могли, а теперь такимъ волченкомъ сталъ, что хоть бы опять въ лѣсъ да не къ вамъ, къ дѣду Никонору, а въ волчью сурчину. Палачъ палачемъ.

— Правда? удивилась дѣвушка.

— Вратъ не стану. Сама, поди, узнаешь. Какъ поступилъ въ кучерѣ, такъ всѣхъ, какъ лошадей, и хлестать зачатъ. Вѣстимо, воля не своя... А все-жъ...

Сидорка махнулъ рукой: не стоить, молъ, объ этомъ и говорить—понятно.

— А вѣдь я съ нимъ росла, съ Акимомъ-то, начала рассказывать дѣвушка. Съ нимъ играла по лѣсу, бѣгала, землянику собирала, малину, орѣхи, грибы. Забережся, бывало, въ чащу, аukaемся, смѣемся. Шустрый былъ мальчикъ, а добрый, да только глазъ у него былъ какой-то чудной. Станетъ, бывало, супротивъ меня — и глядитъ, не трогается, словно его вкопалъ кто въ землю. Чего, говорю, Акимъ, глядишь? А ничего, говоритъ, Галинка — глядѣть хочется, и уставится въ землю. Не любила я у него этого глаза. Чтô, и теперь они у него такіе? Я его давно не видала, Акима-то?

— Ну, какіи у него тамъ глаза — не разглядѣлъ, а что на счетъ морды — очень ужъ разбойницкая морда. Морда самая недобродѣтельная.

— Какъ же такъ—измѣнился человѣкъ: и никто не знаетъ отчего онъ измѣнился? недоумѣвала дѣвушка. А паренѣкъ былъ добрый. Я плакала, когда его увозили отъ насъ, изъ сторожки. Батюшка тоже не мало печаловался о немъ. Вотъ, говорилъ, помощника отъ меня и отняли. На что мнѣ, говорилъ, дѣвка,—это я-то, — съ парнемъ все веселѣй, хоть онъ мнѣ и не сынъ, пріемышъ, а все веселѣй. И точно, безъ него, по первоначально, скучненько было. Потомъ ничего, пообошлись, живемъ кое-какъ съ батюшкой и посеводни. Только ты вотъ, у меня и смутникъ одинъ есть, Сидорка.

— Чево мнѣ тебѣ мутить-то, Галина! мутить мнѣ тебѣ не рука, да и не таковской и паренъ, чтобы мнѣ зазнобну-дѣвочку мутить! проговорилъ Сидорка нѣсколько раздражительно, махнувъ рукой, и потомъ съ увѣніемъ прибавилъ: въ омутъ бы головой мнѣ теперь! Право слово, Галя, въ омутъ!

Галя вдругъ встрепенулась, какъ будто ее ужалило что.

— Ты что это? о чемъ? заговорила она бѣгло, и въ голосѣ ея звучала нѣжная и въ тоже время рѣшительная нотка. Съ чего ты это, парень, взялъ, — въ омутъ головой? Аль намъ жизнь надоѣла? аль ужъ мы не люди и повеселиться во время не съумѣемъ? Эхъ, парень! махни на все рукой!

Галина хлопнула Сидорку по плечу, тряхнула головой. Въ этихъ движеніяхъ ея проглянуло сразу что-то цыганское, дикое. Она сразу какъ будто вся измѣнилась, стала иною. Прежней, нѣсколько плаксивой, какъ казалось, дѣвушки, будто не бывало. Лицо ея запылало, глаза вспыхнули, весь корпусъ вздрогнулъ.

Приунывшій было Сидорка, подъ влияніемъ ея оживленія, оживился и самъ.

— Цыганочка ты у меня, Галя! воскликнулъ онъ, улыбаясь во все лицо, удало и сладко, какъ человѣкъ вполнѣ сознающій въ данное время свою силу. Право, цыганочка!

— Цыганочка я есть! согласилась Галина. Чай, самъ знаешь, кто я такая.

— Какъ не знать! Всѣ знаютъ, что мать твоя цыганка была. Вишь, глазища-то у тебя какіе одутые! Э, чортъ этакой! вдругъ вскрикнулъ задорно парень... И смѣло обхватилъ Галину одною рукою за станъ.

Дѣвушка не сопротивлялась, стояла на одномъ мѣстѣ, но мгновенно повернула голову въ сторону.

— Тише ты! постой! сказала она тревожно, къ чему-то прислушиваясь.

— Чево тамъ еще? Аль зазналась?... Впервой, что-ль?...

Сидорка безтолково захохоталъ.

— Тише ты, дурень! говорю, тише! остановила его Галина... И вдругъ, что было у нея силы, толкнула парня въ сторону, прошептавъ: бѣги, чортъ этакой! барыня ѣдетъ! Эхъ, насъ на дорогу вынесло!... нашли мѣсто!...

Сидорка, испуганно, ничего не соображая, шархнулъ въ лѣсную поросль.

Но было уже поздно.

Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ того мѣста, гдѣ вели прощальную бесѣду влюбленные, показалась маленькая телѣжка на одну сытую лошадку, съ кучеромъ.

Въ телѣжкѣ сидѣла женщина лѣтъ за тридцать, плотнаго сложенія, довольно еще красивая для своихъ лѣтъ. Она, какъ высѣживающая свою добычу орлица, держала голову нѣсколько въ полуоборотъ въ ту сторону, гдѣ стояла Галина и, сжавъ толстыя губы, прямо и холодно глядѣла на дѣвушку. Телѣжка безшумно, но быстро приближалась къ Галинѣ.

— Стой! грозно и хрипло крикнула барыня, когда телѣжка поровнялась съ дѣвушкой.

Тележка такъ же безшумно, какъ и ѣхала, стала.

— Чья шлюха... Никонорова? начала барыня, не спуская глазъ съ дѣвушки.

— Такъ точно-съ, Никонорова буду, отвѣчала дѣвушка тихо, но смѣло.

— Вишь, выросла какъ, дубина какая! Въ запрошломъ году щенокъ была. Годовъ сколько?

— Семнадцать.

— И, поди, семнадцать такихъ же вотъ молодцовъ, кой сейчасъ шмыгнулъ въ кусты?

Дѣвушка молчала, опустивъ глаза, и мила правой рукой кусокъ какой-то тряпицы, изображавшей передникъ. Сердце ея билось. Она чуяла грозу.

Встрѣча съ барыней, съ Салтычихой, какъ ее прозвали крѣпостные, и при болѣе благопріятныхъ условіяхъ никогда не предвѣщала ничего хорошаго. Всѣ по возможности избѣгали съ нею встрѣчи, и нерѣдко просто прятались при ея появленіи. Салтычиха знала это, и всегда принимала мѣры, чтобы заставить всѣхъ и всякаго въ распложѣ. Она ѣдила тихо, ходила еще тише, переодѣвалась въ разныя одежды, и точно—достигала того, что являлась всюду, по пословицѣ, какъ снѣгъ на голову.

На этотъ разъ Салтычиха была еще къ тому же почему-то не въ духѣ. Вѣда надъ головой дѣвушки висѣла неминуемая.

— Что-жъ молчишь-то? крикнула Салтычиха. Аль языкъ отнялся? Отвѣчай! Съ милымъ, поди, голубкой ворковала, ласочкой цебетала, говорила не наговорила, да еще разокъ-другой сюда приближать обѣщалась! Кто ояъ, прохвость-то твой? Говори! Сама не разглядѣла, такъ, думаю, дѣвочка, по добротѣ своей, все мнѣ объ немъ расскажетъ! Любопытна ужъ и очень, все знать-вѣдать хочу, красавица! Ну, кто?

— Не знаю... прохожій какой-то... дорогу спрашивалъ... пробормотала Галина, вся дрожа.

Салтычиха зло разсмѣялась.

— Ну, ты ему, красавица, дорогу и указала?

— Указала.

— То-то, онъ такъ рванулъ въ кусты! продолжала смѣяться Салтычиха. Поди, обрадовался, что дорогу-то нашелъ.

Она разсмѣялась еще злѣе, какъ-то тихо, съ хрипотой, и привстала на телѣжкѣ.

— Подъ-ка сюда, ко мнѣ, красавица... да поближе.

Галина подошла.

— Такъ, не знаешь? спросила, съ какимъ-то уже шипѣніемъ въ голосѣ, Салтычиха.

— Не знаю, отвѣчала упорно дѣвушка.

— Акимка, дай-ко-ся мнѣ кнутъ! приказала барыня.

Акимка, тотъ самый Акимка, о которомъ только-что вели рѣчь Сидорка съ Галиной и который былъ приемышемъ отца Галины и другомъ ея дѣтства, — медленно, даже совсѣмъ-таки нѣхотя, подалъ Салтычихѣ свой кнутъ, и самъ отвернулся, и сталъ чего-то возиться надъ сидѣньемъ.

Между тѣмъ, кнутъ, взвившись тонкой змѣйкой, мелькнулъ разъ-другой въ воздухѣ. Казалось бы, послѣ этого, долженъ былъ раздаваться крикъ, стонъ, мольба... Но... нѣтъ—этого не было: подъ хмурыми, оголенными вершинами лѣса, не раздавалось ни крика, ни стона, ни мольбы...

Дѣвушка стояла на одномъ мѣстѣ, стояла, не шевелась, тихо и покорно. Она даже не дрогнула ни однимъ членомъ своего тѣла. Стояла — и только...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ослушникъ.

Дружная семья рослыхъ, многолѣтнихъ сосенъ, словно бы для того только и разступилась, и пораздвинулась, чтобы дать мѣсто сторожкѣ полѣсовщика Никонора.

Сама по себѣ сторожка не представляла ничего привлекательнаго, заманчиваго: это былъ самый обыкновенный срубъ въ три окна, съ крылечкомъ, безъ всякихъ украшеній. Не было даже такъ всюду обыкновенныхъ въ русскихъ избахъ коньковъ надъ крышей, или какой нибудь мазни на ставняхъ. Впрочемъ, и ставень-то въ сторожкѣ не было. Стояла себѣ сторожка одна-одинешенька, какъ сирота, и какъ спрота выглядѣла печально и подслѣповато.

Но эту сторожку любилъ полѣсовщикъ Никоноръ, и ни за что бы не рѣшился промѣнять ее не только на хорошую, красивую избу въ селѣ, но даже и на каменные палаты въ Москвѣ.

Вотъ онъ и самъ вышелъ изъ сторожки. На немъ суконный, смурый кафтанъ съ купакомъ, на головѣ шапка-зимогорка, на ногахъ смазные сапоги, въ рукахъ старое ружье. Идетъ онъ походкой медленной, ровной, точно прислушивается ко всему, приглядывается: это привычка къ лѣсной жизни, привычка быть осторожнымъ. Ему хорошо извѣстно: въ лѣсу жить, по волчьимъ вѣть. Никонору на видѣ лѣтъ за пятьдесятъ. Но онъ еще бодръ и здоровъ. Большая сѣдая борода окоймляла его довольно еще свѣжее лицо и покоилась на широкой груди, на которой, какъ говорится, хоть рожь молоти. Вообще, Никоноръ былъ изъ тѣхъ, о которыхъ въ народѣ говорятъ: „это стараго лѣсу кочерга“.

Не взирая на свою наружную суровость, Никоноръ былъ добръ и незлобивъ чрезвычайно. Глядя на этого человѣка, никто бы не повѣрилъ, что онъ въ полномъ смыслѣ слова и мухи не обидитъ. Онъ и точно никогда никого не обижалъ: не обижалъ тогда, когда онъ былъ дворовымъ, не обижалъ и тогда, когда сдѣлался полѣсовщикомъ — настоящимъ человѣкомъ лѣса, угрюмымъ на видѣ и даже съ ружьемъ въ рукахъ. Всѣ крестьяне селъца Троицкаго любили его за это, не заглядывая съ

недоброй мыслью въ лѣсъ, и поэтому онъ у него находился въ образцовомъ порядкѣ. Была довольна Никоноромъ даже сама грозная Салтычиха, которал, какъ говорится, и на солнцѣ не какала черныхъ пятенъ. Ружье съ собой Никоноръ носилъ только для „прилику“, для страху: онъ изъ него почти никогда не стрѣлялъ.

Вышелъ Никоноръ изъ своей сторожки, поглядѣлъ на-право, на-лѣво—и громко, какъ-то странно, крикнулъ:

— Го! го! го-о!

„Го! го-о-о!“ пронеслось по лѣсу эхо и гдѣ-то затерлось, застыло въ отдаленіи.

Это былъ обычный у Никонора возгласъ, которымъ онъ призывалъ бродившую по лѣсу дочку. Обыкновенно, дочка откликлась: „ау, тятка!“ и шла домой въ сторожку.

На этотъ разъ она не откликнулась.

„Экъ, ее запропастилась!“ подумалъ Никоноръ и, постоявъ въ ожиданіи не откликнется ли она, снова крикнулъ. Снова откликнулось эхо. Но дочка не откликнулась.

Никоноръ медленно пошелъ по дорогѣ, вовсе не заботясь о томъ, что въ сторожкѣ, кромѣ стараго кота, никого не осталось: тамъ человѣку, желающему воспользоваться чужимъ добромъ, нечего было брать. Никоноръ былъ бѣденъ и даже не прикупилъ ничего для дочки: у отца съ дочерью только то и было, что они носили на себѣ — роскошь ужъ совсѣмъ-таки необходимая. Терпкая, бобылья жизнь приходила какъ-то по вкусу и отцу и дочери.

На какомъ-то поворотѣ дороги, Никоноръ, совершенно неожиданно, встрѣтилъ телѣжку барыни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свою дочку, которая медленно шла за медленно двигавшимся экипажемъ Салтычихи.

При первомъ же взглядѣ на барыню и на свою дочку, Никоноръ догадался, что произошло что-то неладное. Салтычиха была красна, какъ свекла, дочка его, Галина, на оборотъ—была блѣдна и шла за телѣжкой той нервно-сдержанной походкой, неровой, безпокойной, которая особенно свойственна женщинамъ открытаго характера.

„Быть грозѣ!“ подумалъ Никоноръ, и съ низкимъ поклономъ привѣтствовалъ барыню.

Та немедленно спросила:

— Все-ль у тебя въ порядкѣ, старшій сынтъ?

— Въ порядкѣ, матушка-барыня, въ порядкѣ, залепеталъ полѣсовщикъ. Все въ порядкѣ, по милости вашей, матушка-барыня.

— А не врешь, старая крыса?

Полѣсовщикъ растерялся. Онъ посмотрѣлъ сперва на барыню, потомъ на дочь, потомъ на кучера Акима, словно бы ища въ нихъ какой-либо опоры. Но всё какъ бы окаменѣло въ своемъ молчаніи, и онъ понялъ, что барыня хочетъ на чемъ-то его изловить, уличить его. Ему стало жутко.

— Матушка-барыня! простоналъ онъ, — казни, милуй, а я ни въ чемъ не повиненъ!

Онъ низко поклонился барынѣ, и въ то время, когда поднималъ голову, глаза его невольно встрѣтились съ глазами дочери: какой-то нехорошій, перебѣгающій огонекъ замѣтилъ онъ въ нихъ, и тутъ же рѣшилъ, что „все это изъ-за дочки“.

Одновременно и Салтычиха пристально, почти пронзительно глядѣла на растерявшагося полѣсовщика.

— Ахъ тебѣ не въ домекъ о чемъ рѣчь-то? прошипѣла она, все еще не отрывая глазъ отъ полѣсовщика.

— Матушка, не въ домекъ! почти вскрикнулъ полѣсовщикъ, въ самомъ дѣлѣ не „домекавшій“, чего хочетъ отъ него барыня, хотя и догадавшійся, что во всемъ „этомъ“ замѣшана дочь.

— Не въ домекъ? Вышь, какіе у меня мужики стали недогадливые! прохрипѣла она, и потомъ, почти успокоившись, приказала: поворотн-ка оглобли назадъ, веди въ свою сторожку: авось, тамъ посмышленѣе станешь.

Приостановившаяся было телѣжка снова тронулась впередъ.

Салтычиха, повидимому, успокоилась, и даже безъ свойственнаго ей всегдашняго озлобленія, распрашивала Никонора кое о чемъ по хозяйственной части, касавшейся преимущественно лѣса: сколько заготовлено дровъ на зиму, много ли было ягодъ и грибовъ, и усердно ли то и другое собирали дѣвки, нѣтъ ли медвѣдей и т. под. Никоноръ, идя рядомъ съ телѣжкой, безъ шапки, удовлетворительно на все отвѣчалъ, но голосъ его дрожалъ, и онъ чувствовалъ, что сердце его сжимается болью и даже какъ будто подкашиваются ноги: Никоноръ, при всей

своей видной, богатырской наружности, не могъ похвастать смѣлостью. Нѣсколько разъ, украдкой, онъ взглядывалъ на дочь, но та намѣренно не замѣчала его взглядовъ, и шла за телѣжкой съ выраженіемъ на лицѣ невольнаго напряженія. Все это еще болѣе пугало Никонора.

Когда телѣжка остановилась у сторожки, Салтычиха, съ помощью Акима и Никонора, медленно вытѣзла изъ нея, и потребовала скамейку. Скамейка тотчасъ была принесена. Акимъ положилъ на скамейку подушку — и барыня сѣла, поставивъ ноги тоже на подушку, которую Акимъ, зная свое дѣло, расторопно подsunулъ ей подъ ноги.

Минутъ пять Салтычиха сидѣла молча, медленно дыша и медленно оглядывалась вокругъ. Потомъ она остановила взглядъ на полѣсовщикѣ.

— Ну я къ тебѣ, Никоноръ, сказала она злобно: въ гости... Аль не радъ?

Никоноръ закланялся.

— Радъ, матушка-барыня! радъ!

— А радъ, такъ угощай. Гостя я у тебя рѣдкая.

— Матушка-барыня! только могъ воскликнуть Никоноръ.

— Ну, коль ты не хочешь — пусть угоститъ дочка: она на угощенья горазда. Ну, куропатка, угостишь? обратилась Салтычиха уже къ Галинѣ.

Галина, съ мертвенной блѣдностью на лицѣ, молчала, но въ глубинѣ глазъ ея сверкала какая-то искорка, которая не предвѣщала ничего хорошаго.

Салтычиха продолжала злорадствовать, видимо наслаждаясь смущеніемъ дѣвушки:

— Отвѣчай-же: угостишь? Аль скупа для барыни стала? И то: вѣдь я не добрый мѡлодецъ — баба: для меня и покуситься можно. Экъ, я дура старая! и не догадалась о томъ ранѣе, не додумалась! Салтычиха на мгновеніе смолкла, и вдругъ зарычала какимъ-то удушливымъ голосомъ, какъ будто на горлѣ ей пробовали крѣпость веревки:

— Такъ не скажешь, кто онъ-то, твой добрый мѡлодецъ?

— Не скажу! отвѣтила твердо Галина, и вызывающе взглянула на Салтычиху.

Салтычиху будто ошарашилъ кто: она сидѣла на своей по-